ДНОЖЖИНА СЛОВ 06 ОКТЯБРЯ

СБОРНИК
РАССКАЗОВ

ЭДУАРД РУСАКОВ

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ

ЯНА ЖЕМОЙТЕЛИТЕ

ДИНА РУБИНА

ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ

ЕЛЕНА НЕСТЕРИНА

ДМИТРИЙ КОСЯКОВ

БОРИС ЕВСЕЕВ

ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО

ПАВЕЛ НИКУЛИН

ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН

нецензурно
брань!
18+
Содержит

100-летию Октябрьской революции посвящаем

Андрей Геласимов

**Дюжина слов об
Октябре (сборник)**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Геласимов А. В.

Дюжина слов об Октябре (сборник) / А. В. Геласимов —
«Эксмо», 2017 — (100-летию Октябрьской революции посвящаем)

ISBN 978-5-699-99127-3

Сегодня, в 2017 году, спустя столетие после штурма Зимнего и Московского восстания, Октябрьская революция по-прежнему вызывает споры. Была ли она неизбежна? Почему один период в истории великой российской державы уступил место другому лишь через кровь Гражданской войны? Каково влияние Октября на ход мировой истории? В этом сборнике, как и в книге «Семнадцать о Семнадцатом», писатели рассказывают об Октябре и его эхе в Одессе и на Чукотке, в Париже и архангельской деревне, сто лет назад и в наши дни.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99127-3

© Геласимов А. В., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Дина Рубина	6
Алексей Варламов	22
Андрей Геласимов	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Коллектив авторов

Дюжина слов об Октябре

- © Рубина Д., 2017
- © Геласимов А., 2017
- © Евсеев Б., 2017
- © Варламов А., 2017
- © Авченко В., 2017
- © Шульпяков Г., 2017
- © Нестерина Е., 2017
- © Жемойтелите Я., 2017
- © Косяков Д., 2017
- © Бабушкин Е., 2017
- © Русаков Э., 2017
- © Никулин П., 2017
- © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Дина Рубина Дом Этингера Фрагмент из романа «Русская канарейка. Желтухин»

1

Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство – балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и остро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была, как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) – как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.

Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег с устатку.

Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало – да бывает ли такое?! – двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненя», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Немудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.

Кстати, о теноре.

Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер – Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, сгинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша...

Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буйан, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальчика, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только залиvistый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»

После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже голя, невежа в райских кущах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.

И вот, случается ж такое чудо – мощь чресел библейских старцев! – прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии – во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.

– Имена – вздор, – говаривал отставной николаевский солдат. – Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), мне имя дали Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?

Стоит ли говорить, что сын его Герц – Гаврила – был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буюн, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.

Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как – поклон папаше-кантонисту – незаурядный кларнетист.

К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской – великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка избегала на антресоль, в комнатку для прислуги.

* * *

Дора была женщиной изумительно стервлячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.

– Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! – С этого начиналось каждое утро.

Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шила Доре Моисеевне специальный лиф, напоминавший бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «грудкой».

Каждое утро первый кларнет оркестра Оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «грудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться вдали от супружеской спальни и от Дориной отключенной задницы, приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, какая в том беда Дому Этингера?)

* * *

«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все – коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга. Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепьяно в гостиной стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шалапиным в дни гастролей того в Одессе – два великана, в чем-то даже похожих.

Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая эlegantность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных, нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней – на Музыке! При всей оркестровой занятости преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, даже и христианские священники – послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.

Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский со своей «школой имени мене», Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему удобнее было наблюдать игру и исправлять ошибки.

Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.

Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша – в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь – в женской Второй классической, угол Старопортофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Мемеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполошная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них то на одном, то на другом языке.

Дора считала этот метод идеальным, *жизненным*:

– Главное, чтоб за словом в карман не лезли!

– Неглубокий же тот карман! – иронически отзывался на это Гаврила Оскарович. Тем не менее дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «*Уму нерастяжимо!*» – восклицала она, услышав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «*Это на нервной почке!*» Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла «балдахин», гостей и домашних провожала пожеланием «*ни пуха, ни праха!*», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», – она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу – окунь!»

Но все это общее *так себе образование* (включая гимназии) отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию *настоящему*. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка баритона, разноголосица инструментов, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой», но главное, праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал, – тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.

Так что Яша *сел на виолончель*.

– Виолончель, – втолковывал сыну Большой Этингер, – это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий теноровый регистр, напряженная мощь звука. Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да,

виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми – вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на руки партнеру в аргентинском танго. Но! Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра. Никакие скрипичные «страсти в клочья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного *parlando!* И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «А фагот?» Да, фагот потрясая печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных! Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, – заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла. – Все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.

Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались усадить за арфу (арфа – вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу), и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала до последних коротких струн. Тогда, делать нечего, отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: девочка поразительно быстро читала с листа, цепко охватывая страницу многозвучным объемным внутренним слухом. Так что именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.

Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился – как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника – на муштру новоявленного дуэта.

По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:

– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж *уму не растяжимо!* Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.

* * *

Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы.

Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещение пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.

Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии, когда приключилась эта беда.

Никто из тех, кто знал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень

застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.

А Яша переменялся внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глазду зыхав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.

– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!

Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого respectable борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»

Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво бренчало фортепьяно, а из открытых форточек разносилось по двору:

В Одессу морем я плыла на пароходе раз.

Или:

Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет.

Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.

– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»

Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:

Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет.
Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!

Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».

Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведалься пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да

и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.

Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Любуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!

Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!

На... на манекенах?

Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович.

Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как *на анархистов имеется предписание*, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович.

Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что.

Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).

Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.

И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовской рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.

Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна.

– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!

Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – *ни пуха, ни праха!* – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый

червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли *на серебро* 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.

В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами «Вольной коммуны», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».

Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».

Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригодились нелепые излияния вашего непутевого сына.

Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стешы имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное, тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.

Возможно ли такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?

Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.

<...>

4

Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надежной поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протирала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.

...Эська сидела за ломберным столиком в двух шагах от Стешы и на уровне глаз видела на подоконнике босые Стешины ступни: крепкие, жилистые, с красными пальцами, с чуть набрякшими от напряжения голубоватыми щиколотками.

Эська писала письмо брату.

Как и подозревала покойная Дора, *эта мерзавка Стеша* была-таки замешана в его делишки, знала, где он обретается, и сейчас, растроганная горем семьи, выдала Эське под страшным секретом – «и ни единым духом папаше!» – адрес Яши в Харькове. Собственно, там и адреса-то никакого не было. Писать следовало на Главную почту, да еще и на имя другое: не на Этингера и даже не на Михайлова, а на какого-то Каблукова Николая Константиновича.

Ну, Каблуков так Каблуков, так даже лучше, пусть Яше совсем станет стыдно за все эти недостойные штуки.

Она намеревалась написать брату высокомерное и отчужденное письмо, сухо сообщив о скоростижной смерти матери, но сидела над листом уже час, а высокомерие куда-то улетучивалось, фразы лепились довольно жалкие, хотелось плакать и ужасно хотелось Яшку увидеть!

«...а еще, – писала она, – вот уж верно говорят: пришла беда – отворяй ворота! – папа недавно возвращался после концерта и в темноте ступил в собачью кучку, ну и – помнишь этот скользкий желтый клинкер мостовой на углу Итальянской и Ланжероновской? – растянулся и повредил руку! Сначала думали, пустяк, растяжение связки, ан нет, все куда серьезнее, и доктор Киссер со станции медицинской помощи считает, что связка порвана, а выздоровление – дело дальнее. Пока папе установили в оркестре небольшой пенсион по болезни, но сезон, конечно, загублен, и он ужасно огорчен, прямо убит. Он бы мог преподавать, но даже думать не хочет: говорит, что педагог, не способный продемонстрировать ученику то, чего от него требует сам, – мошенник и пустобрех. Я предложила продать мамины драгоценности – те дивные кольца, еще от прабабушки, помнишь? – но он уперся и твердит, что подобные вещи сохраняются в семье на совсем иные, какие-то “большие спасательные миссии”. И это уж прямо его фантазии! А ты же знаешь, какой он гордый человек! Как не мыслит своей жизни без музыки. Уверен и повторяет без конца, что на будущий год я непременно, во что бы то ни стало поеду к Винарскому в Вену. Все это грустно: на какие средства он рассчитывает? Если б Стеша не выросла в семье (да и идти ей некуда, и ни к чему она не приспособлена), то и она сбежала бы от таких затруднений: все дни напролет ходит в одной и той же юбке.

Но ты не должен за нас беспокоиться. Тут у одной “девочки”, ты ее помнишь, рыженькая, Лида, разговаривает так забавно, “вавакает”, брат – механик в иллюзионе “Бомонд”, и он меня туда предложил – о, не смейся, пожалуйста, актерство тут ни при чем! – на предмет музыкального сопровождения новой американской фильма “Большое ограбление поезда”. Я сначала не могла играть: впечатление сильное, знаешь! Инструмент же совсем бросовый, разбитый и расстроенный. Сядишься, и вначале кажется – легкие деньги, но к вечеру руки свинцовые, спина раскалывается. Ничего, заработок, однако, недурной. Я потерплю. А еще, Яша...»

Она задумалась. Вдруг вспомнила дачу на Шестнадцатой станции, которую ежегодно они снимали, эту летнюю веселую жизнь со спектаклями и розыгрышами, с толпой сменявших друг друга гостей, и «вечерних», и тех, что оставались неделями; и закружил теплый ветер с Босфора, смешавшись с запахом чистого сухого белья на веревке и горячих камней чисто выметенного дворика; возникли перед глазами круг желтого света от керосиновой лампы на вечерней террасе, солнечный переполох листьев в виноградной беседке, слепящая синь неба в отрешках летящих облаков и слепящая синь моря в заплатках белой парусины.

Вдруг воссиял большой медный таз на огне: это в саду под яблоней Стеша колдует над вишневым вареньем. В самой середке густой багряной мякоти подбирается, подкипает крошечный вулкан лаковой вишневой пенки. И она, Эська, – восьмилетняя, босая, в цветастом сарафане – стоит с блюдечком в руках, ждет своей порции сладкого – сладчайшего! приторного! – приза. А Стеша месит палкой в тазу вулканическое озерцо, испуганно покрикивая: «Сдайте назад, барышня, ну-ка! Обвариться можно сию минуту, не дай боже!» Но девочка не отходит, замороженно глядя на вулканчик в центре раскаленного багряного озера, облизывая губы, словно на них уже запеклась вожденная лиловая пенка.

И весь длинный летний день – шлеп и лепет, беготня, босая пересыпь маленьких ног по дощатым полам террасы – там за чаем папа демонстрирует гостям подарок, привезенный из Карлсбада дедушкой Моисеем: трость с золотым, как говорит Ада Яновна, «балдахин» в виде оскаленной львиной пасти. Набалдашник, конечно, не золотой, а фальшивый, но особый, с сюрпризом: отвинчиваясь, львиная голова ощеривается коротким, но мощным клинком.

– Элегантная вещица, – замечает кто-то из гостей.

– Чепуха, блеф, декорация! – фыркает папа.

Он всегда фыркает при появлении деда – веселого, легкомысленного и рискованного человека с брюшком и курчавыми, как у Пушкина, рыжеватыми бакенбардами.

(Вот уж рискованного, да. Года два как после банкротства переехал в квартирку на четвертом этаже под крышей и все болеет, болеет.)

Вдруг она с необычайной ясностью услышала двойную вьющуюся нить родных голосов: вечерами на даче Большой Этингер с сыном пели дуэтом. Начинал отец без предупреждения, когда после чая наступала пауза, Стеша убирала со стола, мама переходила в бамбуковую скрипную качалку, обессиленно падала в нее и прикрывала глаза. И папа тоже, прикрыв глаза, будто издали начинал, с такой дорожной мечтательной грустью:

Од-но-звучно греми-ит ко-о-ло-кольчик... и до-ро-о-о...

И томительно Яша подхватывал:

...И дорога пылится слегка-а-а...

Дача на горе стояла, у самого обрыва, с террасы распахивалось море со своей безудержной переменчивой жизнью, с такими закатами, с таким багряным солнцем в багряных волнах. Два тенора взмывали и опускались, как два крыла, озаренные заходящим солнцем:

И уныло по ро-вно-му по-олю... разли-ва-а-а...

А Яша:

...разливается песнь ямщика-а-а-а...

Разные были тенора. У отца – глубокий драматический, очень чувственный, у сына – нежный и юный, переливчатый. Пели так только на даче, «на воле», где всё – как бы игра, понарошку, дурачество – лето... (Яша очень застенчивый был мальчик, чужих стеснялся.) Но сила чувств такая, что у обоих потом влажные глаза, и оба их одинаково прячут за небрежной улыбкой. Такая певчая пара была, казалось, тут не только домашнее, теплое, а что-то более глубинное, более мощное... голос рода, что ли... Вот оно, так ясно, так больно: закат, слабый рокот волн из-под обрыва, вспышки маяка вдали, а на террасе – круг желтоватого света от лампы. И два упорно высоких голоса, взмывающих и парящих, как две чайки – над морем, над степью:

*...и замолк мой ямщик, а дорога...
предо мной далека, да-а-але-ка-а-а...*

Эське хотелось написать: «Яшка, возвращайся ты, ради бога, пожалуйста, Яшенька, вернись, мы с папой такие одинокие!» – но она упрямо поправила перед собой листок и продолжила: «Еще у меня появилась ученица. Внучка пристава Жаркова. Девочка, как говорила покойная мама, “запоздалая”, малоспособная, но старательная...»

В окне дома напротив раздернулись малиновые шторы, изнутри толкнули раму, высунулась растрепанная голова одной из «девочек».

– Во денек – шик! – крикнула она куда-то в комнаты. – Просыпайся, Ангеля!

Оттуда невнятно отозвался заспанный голосок, а другой, мужской голос густо прокашлялся и сообщил кому-то невидимому:

- Франца Фердинанда застрелили!
– Которого Фердинанда? Лысого? – донесся снизу, со двора, тонкий – сразу и не разберешь, женский или мужской – голос. – Кельнера с Ланжероновской?
– Та не, принца венхерского. О тут пишут: «Одна пуля пробила воротник мундира эрц... эрцхерцоха... и застряла ув позвоночнике. Другая пробила корсет херцохини и застряла ув правом боку. Скончался в беспамятстве».
– А стрелял-то кто?
– Какой-то Хаврила, тоже принц. Не, Принцып – то фамилие.
– Жид?
– А я знаю? Пишуть, студент.
– Значит, жид.

Стеша кончила надраивать стекло, ставшее совершенно невидимым, бросила на пол газетные комки и следом прыгнула сама, в середку солнечной лужи, упруго и весело шлепнув босыми ступнями о паркет.

Эська приподнялась, захлопнула окно и продолжала: «...Девочка старательная, хоть и туповатая, так что в первую голову думаю дать ей упражнения на беглость пальцев».

5

Нет, Яша в то время никак не мог вернуться в родную семью. Яша был страшно занят: он и сам мог бы сыграть одну из главных ролей в киноленте «Большое ограбление поезда», и убедительнейшим образом сыграть, тем более что партнерами в этой умопомрачительной ленте у него были бы самые разные актеры: от Якова Блюмкина с его «железным отрядом революционеро-интернационалистов» до будущего батьки Махно в эпоху его третьего военно-политического соглашения с большевиками.

В Одессу Яша вернулся в незабываемые годы революционного разгула борьбы всех со всеми. Рассорившись и расставшись с другом Блюмкиным, он создал собственную боевую анархистскую дружину, которая входила в подпольный ревком, где каждой твари было по горстке – большевиков, анархистов, левых эсеров.

Вряд ли Эська узнала бы брата, столкнувшись с ним на улице или даже в подворотне собственного дома, где он, к слову сказать, не появился ни разу. Уже в то время он окончательно взял себе солдатскую фамилию деда, Михайлов, и вровень с фамилией полностью поменял облик – заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вымахал до отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, Этингерова способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях эпохи.

А на бедность декораций в те годы актерам жаловаться не приходилось – кровавый, долгий, разрушительный шел спектакль: Одесса то становилась «вольным городом», то именовалась «Одесской республикой», то провозглашалась столицей «независимого Юго-Западного края». Казалось, сюда со всей простертой в безумии державы стекались отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая язвами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя. Бушлаты, гимнастерки, седой гармоникой сапоги, на Екатерининской – раздавленное пенсне в двух шагах от перевернутой мужской галоши.

В городе орудовали банды налетчиков и толпы вооруженных дезертиров; через него прокатывались гайдамаки, белые, красные, румыны, французы и сербы. Одних только анархистских союзов, федераций, групп и дружин насчитать можно было с десятков, и всем находилось дело: взорвать типографию, ограбить пакгауз, пристрелить прямо в ателье какого-нибудь фотографа с Большой Арнаутской – «буржуя, заживревшего на крови рабочего люда».

И тут уж Якову Михайлову с его боевой анархистской дружиной нашлось где развернуться. Он имел разветвленную сеть осведомителей, лично завербовал нескольких офицеров деникинской контрразведки и – артистизм всегда был присущ отпрыскам Дома Этингера – своих ребят посылал на задания в форме Добровольческой армии. Председатель ревкома товарищ Чижов воротил разборчивый нос от дружины Михайлова – его, видите ли, коробила сомнительная репутация этих «ребят», по большей части одесских налетчиков. Зато когда тот же Чижов был арестован контрразведкой – кто выкрал главу ревкома с тюремной баржи в порту? А когда некий Александров, присланный в Одессу из самого ЦК РСДРП(б), сбежал с кассой ревкома – кто выследил и выудил его прямо из ресторации, где вор и предатель гулял с компанией подвыпивших деникинцев? Яков Михайлов, о чьей жестокости ходили невероятные слухи. С провокаторами Яша расправлялся лично, и самые крепкие из его «ребят» предпочитали отлучиться покурить, дабы не слышать, что за звуки извлекает бывший виолончелист из человеческих жил.

17 февраля 1919 года дружина Михайлова взорвала штабной вагон с союзными офицерами. Тут Яша счел разумным исчезнуть и далее всплывал самым неожиданным образом, как поплавок в бурном потоке времени.

Помирившись с Блюмкиным, подался создавать с ним ревкомы на Подолье, возглавлял один из партизанских отрядов в тылу петлюровцев и, в отличие от друга, не попал к ним в лапы, а успел бежать в последнюю секунду, голыми руками задушив несговорчивого путевого обходчика, не пожелавшего отдать беглецу свою кобылу.

* * *

Впервые он дал о себе знать семье в тот вечер, в иллюзионе на Мясоедовской, когда после вечернего сеанса перед Эськой возник и навис над стареньким фортепьяно детина в кожаном плаще, с кенарем Желтухиным в клетке.

– ...А заодно привет от брата Яши, – сказал детина. И эти слова оглушили, полоснули и распахнули Эськино сердце, как рану.

Вначале она подумала, что посланник – а детину звали Николай Каблуков (тот самый Каблуков, на чье имя она писала когда-то Яше длинное наивное письмо, оставшееся без ответа) – просто воспользовался родством товарища для личного удобства: может, переночевать надеялся, кто его знает. Однако Эська была весьма строгих понятий: домой привела, чаем, конечно, напоила, а вот ночевать – извините, сказала твердо, это не в моих правилах.

Да и папе, как заметила она едва ли не с порога, гость почему-то не глянулся, хотя от кенаря папа пришел в неопиcуемый восторг: стал напевать отрывки из арий, пытаясь с ходу научить того сложнейшим модуляциям.

И тут гость, не присаживаясь, не сняв своего бронированного плаща, прочитал целую лекцию (вернее, это была вдохновенная баллада, так вибрировал и вздымался волной его голос) о том, что за диво дивное русская канарейка. «Соловьем разливался», – говорил позже Гаврила Оскарович с усмешкой.

Оказался Николай Каблуков страстным канареечником и *дителем* – ловцом певчих птиц. Впрочем, и лошадиником тоже. У его отца прежде, «до событий», был, оказывается, конезавод. «Между прочим, наши всегда на скачках призы брали; и у вас тут, на ипподроме Новороссийского общества». В лошадях он понимал, любил их самозабвенно – поверите ль, ушел из конной бригады Котовского: не мог видеть, как губили там лошадей.

Стеша накрыла к чаю на ломберном столике в кабинете Гаврилскарыча (большой обеденный стол со стульями, с вензелями «ДЭ» – «Дом Этингера» – в изогнутых высоких спинках, остался в столовой, куда на днях вселилась семья какого-то портового начальника).

За чаем гость говорил много, охотно и вообще чувствовал себя как дома. Стешины знаменитые оладушки уплетал своеобразным способом: брал двумя пальцами целую, складывал вчетверо конвертиком и отправлял в рот, словно письмо опускал в прорезь почтового ящика. Стеша с минуту понаблюдала этот процесс, уважительным взглядом провожая плавное движение щедрой руки. Затем повернулась и отправилась на кухню – жарить следующую порцию.

– Страсть к лошадям – это у нас от предка-цыгана, – продолжал Каблуков. – Не простой был цыган, с тремя фамилиями.

– Следы заметал?... – заметил Большой Этингер, со значением бросив на дочь свой говорящий «таранный» взгляд.

Эське же немедленно пришло в голову, что в ее семье тоже знают толк в смене имен, и она поспешила сойти со скользкой темы.

– А он заговорит? В смысле – птичка? – и кивнула на клетку с кенарем, который все прыгал и глазиком постреливал; и смутилась от того, как насмешливо, как ласково-снисходительно поглядел на нее Николай.

– Нет, – ответил он. – Увы, кенари поют, и этого вполне достаточно. Бывали случаи, когда они перенимали пару слов с хозяйского голоса, но это должен быть особый голос, чьи вибрации совпадают с птичьими.

– Такой? – спросил папа, глубоко вдохнул и легко взял самую высокую свою ноту, и держал ее так долго и привольно, слегка улыбаясь глазами, развернув кисть правой руки ладонью вверх, приглашая гостя взять еще оладушку, что тот даже рот разинул, будто примеривался ноту подхватить и проглотить. А Желтухин – тот страшно взволновался и пронзительно запищал, раскачивая клетку. Тогда папа, наконец, шумно выдохнул – как затекшую ногу переменял, – и все рассмеялись.

Но уже в тот первый вечер между отцом и Николаем Каблуковым произошла тяжелая сцена, которую и вспоминать не хочется: все дело в Яше, в его наглom поручении.

Каблуков называл его «деликатным», видимо, чуял, что миссия не из простых, дело семейное... И как на грех, вначале случилась еще одна заминка: гость достал из нагрудного кармана френча и торжественно выложил на скатерть монету – тот самый памятный белый червонец, который Яша прихватил, покидая отчий кров через окно кухни. Станный парламентар, он будто предъявлял монету вместо белого флага. Гаврила Оскарович нахмурился, усмехнулся и промолчал. На червонец не глянул. И гостю при такой реакции хозяина помолчать бы, погодить с дальнейшим поручением. Но тот не разбирал хозяйских настроений – человек сторонний, далекий от привычек и привязанностей Дома Этингера. Долил себе чаю из чайника, отправил за щеку целую сушку и, посасывая ее, невозмутимо продолжал с оттопыренной щекой.

Речь шла о трех книгах из семейной библиотеки – той, что положил начало еще старый кантонист, а продолжил собирать Гаврила Оскарович. Собрание было не так чтоб очень обширным, но отборным, большей частью музыкального толка: старинные клавиры, книги по композиции, по истории музыки, биографии великих исполнителей. Каждый фолиант помечен фамильным экслибрисом: могучий встрепанный лев, чем-то напоминавший юного Гаврилу Оскаровича, с лапой на полковом барабане, а на том раструбом вниз – полковая труба. И просторной аркой над ними буквы-кубики: «Дом Этингера».

Было и несколько ценных еврейских книг. А три среди них – прямо жемчужины: «Карта Святой земли», составленная Якобом Тиринусом и изданная в Антверпене в 1632 году, Пармский Псалтирь XIII века и редчайшая редкость, гордость коллекции старого солдата – книга неизвестного автора с забавным названием «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», причем название напечатано по-русски, но сам текст внутри – на святом языке. Весь изюм, однако, не в названии сидел, а в том, где книга напечатана: в личной типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого –

того вольнодумца, что еще в XVIII веке провозгласил в своих владениях на Подолии республику, чеканил собственные деньги, отпустил на волю всех своих крепостных и учредил у себя полную свободу всех верований. По свидетельству потрясенных современников, он разгуливал, облаченный в белую тогу, с венком на голове, и поклонялся богине плодородия Церере. А в домашней типографии печатал самые диковинные фолианты – в том числе вот и еврейские.

Эти-то бесценные книги и попросил у отца через своего порученца (скажем точнее, затребовал – просить он давно разучился) большой чекистский начальник Яков Михайлов.

Гаврила Оскарович пришел в неопишную ярость.

– Что?! – крикнул он шепотом. – Ему наследства... наследства ему захотелось?! Да я ради образования своей прекрасной, своей наиталантливейшей... я... я их ради дочери не продал!!!
Передайте этому негодяю!.. да нет, что там!..

Схватил червонец со стола и швырнул на пол, под ноги гостю. Вскочил и выбежал вон из комнаты, хлопнув дверью и топя так, что взволновалась и долго укоризненно качала подвесками любимая Дорина люстра.

Словом, чай тихонько допивали Эська с гостем вдвоем, если не считать Стеши, которая появлялась, чтобы добавить еще два-три кусочка колотого сахару на блюде (драгоценность!) или поспевшие оладушки. Она всегда, даже в голодное время, ухитрялась мастерить эти оладушки из самого бросового продукта, вперемешку с давлеными сухарями, а получалось восхитительно вкусно.

Каблуков же невозмутимо поднял червонец с полу и как ни в чем не бывало положил обратно в карман: мол, что ж поделать – на нет и суда нет, подберу-ка, чтоб не валялся. И сунул за щеку очередную сушку.

Так что, несмотря на душевный вечер, несмотря на жалостную и упоительную песню кенаря про «стаканчики граненные», Эська вскоре выпроводила гостя на ночь глядя, с наилучшими пожеланиями.

Но Николай Каблуков никуда не уехал, а наоборот, стал ежедневно приходить в иллюзион на последний сеанс, дожидаясь Эски. Очень полюбил «Полонез» Огинского, и если стремительное действие фильма не подходило под благородную польскую грусть милой его сердцу пьесы, Эська потом специально для него исполняла «Полонез» раза три подряд, в романтически пустом темном зале.

Они гуляли допоздна, чуть не всю ночь. На трамвае добирались до дачи Дунина, где с верхней площадки во весь дивный размах открывалась алмазная зыбь гаснущего моря, широкий угольно-малиновый закат. Вблизи у берега сновали лодки с рыбаками; подальше, волоча за собой четкий пенный след, проходил пароход какой-нибудь аккерманской или херсонской линии, а совсем вдали, на меркнувшем сизокрылом горизонте восходил дымок парохода или призрачной бабочкой повисал парус каботажного судна.

От дачи Дунина брели по берегу до Аркадии. Шли мимо «скалок» – пластов рыжего ракушняка, источенного прибоем, обросшего водорослями, с бесчисленными пещерками – укрытиями рачков и крабов. Над волнорезами вскипали барашки легких бурунов; рыба чешуя луны с наступлением темноты проблескивала в беспокойной волне.

Желтые всполохи маяка на Большом Фонтане равномерно обжигали черное глубокое тело воды, а в туманную ночь пронзительно кричала паровая сирена.

Николай скупно рассказывал про Яшу – в основном героические эпизоды, понимая, что сестре, да еще музыкантше, не стоит вываливать всей мужской революционной правды о брате.

Однажды – они гуляли на Приморском бульваре, где чуть не из-под ног стрижами вычиркивали мальчишки-разносчики с криками: «“Одесский листок”!», «“Одесская почта”!», «Требуйте свежую “Почту”!» – и на каждом шагу попадались лавки менял, а буфеты шли один за другим, и всюду торговали пампушками и булочками, – она спросила:

– А вы, Николай? Почему остаетесь здесь, а не возвращаетесь к Яше?

Он улыбнулся и с ответом замешкался, и на мгновение она вообразила, что он выдохнет сейчас – из-за вас, мол, Эсфирь Гавриловна (позже, вспоминая эти дни и замкнутую улыбку в его на первый взгляд простодушных глазах, не могла простить себе доверчивой глупости).

Он сказал:

– Вы когда-нибудь вслушивались в птичий говор? Вон, голубки: они всегда начинают открытым звуком, а в конце проборматывают, заминают: «Якакразоттуда... якакразоттуда...» – И легко, но серьезно пояснил, и она видела, что он искренен: – Я, знаете ли, человек бездумный, бездомный, необязательный. Люблю сняться с места – вдруг; сам потом не знаю – что меня подняло. Проснулся утром и думаю – да что эт я тут задержался? скорей полечу-к дальше. Это от моего промысла такое беспокойство, понимаете? Я ведь – дитель, лошажник и зверолов. – И снова улыбнулся абсолютно невиновой улыбкой и стал рассказывать, как пасутся в мглистых потемках луга расседланные кони, позвякивая и мерно шурша травой, – с таким влюбленным лицом, что становилось ясно: никакой невесты ему не нужно.

Была в этом великане, при всей угрожающей стати и грубоватых чертах лица, неожиданная птичья легкость в повадке и птичья нежность: в разговоре, в телодвижениях. Несмотря на военный прикид и даже маузер в деревянном ящике-прикладе под полкой, он казался человеком из какого-то иного мира, не связанного с миром окрестным, насильственным, ежедневно предъявляющим права на твою душу и жизнь. Вдруг озадачивал каким-нибудь неожиданным наблюдением: уверял, что в Одессе выразительные водосточные трубы – смотрите-ка, вон одна, суставчатая, с обломком, и тот приставлен, как протез к колену. А та вон – как штанина, смятая в «гармошку».

Он ей нравился. Особенно в этом длинном плаще, что придавал ему полководческий вид: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник под горло.

Однажды заташил ее в фотографию и уговорил сняться на карточку – а ведь она терпеть не могла всех этих ненатуральных поз! В центре большой пыльной студии громоздился желто-лиловый фанерный утес с проросшей у подножия пенной грядкой морского прибоа; над ним в полутьме что-то попискивало. Подняв головы, они обнаружили под потолком клетку со скучавшим кенарем. Николай умилился, потребовал клетку снять и за три минуты каким-то чудом – легкими нежно-вопросительными свистками – кенаря «разговорил». И упробил Эську сняться вместе с птичкой. Сетовал только, что это не великий маэстро Желтухин, а посторонний заурядный певец. Но девушка улыбнулась и ласково потянулась губами к птичке. Так карточка и вышла – ужасно манерная. Эська даже огорчилась: этакое дурновкусие!

– Хотите – забирайте ее себе, – сказала ему. Он и забрал.

Прижал к губам эту глупую карточку и положил в один из карманов бездонного своего плаща.

Она уже позволяла ему себя целовать – целовал он осторожно, будто прикасался к птенцу; звал ее уменьшительными именами смешным умиленным голосом. Перебирая ее пальцы, лежащие в его огромной ладони, изумленно растягивая:

– Па-а-альчики... – и, опуская глаза на крошечные и вправду обольстительно маленькие ее ступни в мальчиковых ботинках: – Но-о-ож-ки.

Тогда она, сердясь и смеясь, сильно стискивала его ладонь, а он притворно ойкал.

– Я – пианистка, – удовлетворенная экзекуцией, объясняла Эська. – У пианистов руки, как у борцов.

И уже волновалась, когда к концу последнего сеанса не видела в зале высоченной, как башня, фигуры, отбрасывающей на экран угрожающую тень.

Понимала, что все стремительно катится к чему-то банальному, но такому остро-счастливому, с прерывистым дыханием, со слезами в горле.

...пока однажды днем в перерыве между сеансами не выскочила из иллюзиона купить у торговли пирожков «на перекус» – и вдруг не увидела этих двоих. Поначалу решила – вздор,

случайность, глупое совпадение. Но уже знакомая ей слитность фигур (что это было давно-давно? – ах да, папа когда-то, в ее детстве, с некой прильнувшей к нему дамой, так очевидно прильнувшей, что – гимназистка, соплячка – Эська все поняла).

Они оказались замечательной парой, и заметно было, что гуляют не впервые: Николай Каблуков, дитель и лошади, и рослая Стеша с платиновым блеском в промытых косах и таким белокожим лицом, такими наивно-победными карими глазами, что Эська, впервые увидев ее на улице со стороны, только ахнула: Стеша-то у нас – красавица!

Вот только не стоило ей тащить концертную юбку из «венского гардероба»: шикарно просторная на Эське, с вихревым шелковым шелестом, юбка Стеше была и коротка, и тесна, а крепкие и набрякшие Стешины щиколотки явно стоило прикрывать. К тому же стеклярус по подолу, благородно праздничный под концертными огнями, так дешево и плоско блестел на полуденном солнце.

Оставив торговке кулек с пирожками, Эська спокойно и решительно двинулась к ним наискосок через площадь. Увидев ее, Стеша окаменела, забыв вынуть руку из-под локтя дителя. У него же в бровях возник некий птичий переполох. Наверное, мелькнуло у Эськи, голубчики сочли, что *трудолюбивая малютка наяривает амурскую волну, не поднимая зада*.

Ну что ж: вечерняя возлюбленная всегда романтичнее дневной.

– А ну, снимай! – тихо приказала Эська. – Снимай мою юбку!

Сказала просто так, чтоб оконфузить, – ну не стала бы она, в самом деле, позорить эту дуреху посреди улицы. Но *запоздалая* Стеша, всегда странно почтительная к «барышне», побледнела дивной сметанной бледностью и принялась обреченно стаскивать с крепких ляжек тесную ей юбку.

– Дура! – крикнула Эська, залившись краской, не глядя на Каблукова, щебечущего какой-то вздор. Впервые в жизни она так грубо обращалась со Стешей. – Иди домой, дура!

И не оглядываясь на этих двоих, не обращая внимания на вопли торговки, скрылась в дверях иллюзиона: любовь-морковь, а через пять минут начинался сеанс. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне».

* * *

...А Яша в те годы уже перебрался в Москву, поближе к чудесно воскресшему (переломанному, но недобитому петлюровцами) Блюмкину. Тот взорлил неожиданно и пугающе ярко: из эсера и анархиста – прямиком в начальники личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давидовича Троцкого! Приобрел столичный лоск Яков Григорьевич, оброс приятелями из артистической среды, сам, говорят, стишки пописывал, актрискам посвящал. Как-то успевал на всех фронтах – атлет, кутила и деляга, искусный надувала, неуловимый разведчик, беспощадной жестокости чекист, звезда московской богемы.

Но главное, там, в ВЧК, Блюмкин создал новый отдел – иностранный, внешней разведки, по сути – первую советскую шпионскую сеть за границей, и, едва добравшись до Москвы, Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет: какое-то время крутился на орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику.

Вообще, в те годы Яша редко навещался в Россию. Его немецкий и французский (ау, милая старая кляча Ада Яновна Рипс!) отдавали простецкой прямоотой, отличавшей незамысловатый люд. Так что, устраиваясь механиком в какую-нибудь берлинскую автомастерскую или шофером в текстильную фирму в Цюрихе, Яша всюду выглядел уместно и органично. Как говорила покойная Дора – «за словом в карман не лез».

... Три дедовых книги, изобретательно добытых Николаем Каблуковым из кабинета отца при помощи Стеши, Яша вовсе не считал наследством. Наследство – любое – он презирал, в старинных манускриптах большого толку не видел. Эта, по его мнению, *местечковая ветошь*, эта *допотопная рухлядь* (а похожие книги собирали *товарищи* по всей России, потроша синагоги, наведываясь даже в закрытые фонды Государственной библиотеки) должна была послужить наиважнейшему делу: по заданию начальника ИНО ОГПУ Меира Трилиссера Яков Блюмкин был заброшен в Палестину под именем Якуба Султан-заде, торговца еврейскими древностями. Приторговывая антиквариатом, он в короткий срок должен был создать большую разведывательную сеть и боевое диверсионное подразделение: молодая и цепкая советская власть намеревалась хорошенько потрепать англичан на Ближнем Востоке.

Какое-то время Трилиссер – а он предпочитал Якова Михайлова «этому трепачу и позеру» Блюмкину – склонялся отправить их в Палестину вдвоем, дабы Яша за Блюмкиным приглядывал. Но Михайлов вовремя учуял опасность и выкрутился: мол, ни иврита, ни арабского, ни фарси, на которых бегло говорил полиглот Блюмкин, он не знает; может провалиться дело.

К тому времени, побывав с Блюмкиным в Монголии, где они помогали тамошним товарищам устанавливать советскую власть, Яша насмотрелся на выкрутасы дружка юности (без выпивки и наркотиков, к которым пристрастился в Афганистане, тот и дня не начинал) и вовремя отшатнулся. В отличие от хвастливого и упоенного собой Блюмкина, был Яков Михайлов угрюм и молчалив, взвешивал каждое слово, близкими друзьями и длительными сердечными связями не обзаводился. И после безобразной новогодней вечеринки в ЦК монгольской компартии, где перепивший Блюмкин блевал на портрет Ильича и призывал местных коммунистов пить за Одессу-маму, тем же вечером написал обстоятельное письмо Трилиссеру: подстраховался.

Яшу явно хранила судьба: очень вовремя он это письмо отправил и вовремя вновь расстался с другом мятежной юности – как раз перед поездкой того в Константинополь, перед его оплошной встречей с изгнанником Троцким.

Так что последующий арест Блюмкина и неожиданный, ошеломивший многих чекистов его расстрел («А ушел красиво, – одобрительно крякнув, рассказывал Яше один из *исполнителей*. – “Стреляйте, – кричал, – ребята, в мировую революцию!”») Михайлова не затронули ни в малейшей степени. Но многому научили. И в дальнейшем он мудро предпочитал заграничные командировки высоким назначениям в аппарате ГРУ.

И все же это изрядное чудо или просто Этингерова звезда, что Яков Михайлов уцелел аж до конца 40-го – и это в кровавых-то чистках, следовавших волна за волной, в калейдоскопической смене аппарата разведчиков! Возможно, высокое качество добываемой им секретной информации удерживало Центр от последнего шага. Во всяком случае, к тому времени уже были вызваны в Москву и ликвидированы большинство нелегальных резидентов, от которых и через которых шла информация о подготовке Германии к войне. Когда же Михайлов получил приказ срочно вернуться «домой», он недели три еще отбрехивался телеграммами о «чрезвычайной загруженности». Хотя уже прекрасно все понимал.

Спустя столько лет этот волк, гонимый тревожной памятью и обреченным предчувствием конца, решился напоследок повидать семью. Хотя от семьи в те годы остались Гаврила Оскарович, *Городской Тенор*, да Стеша, *запоздалая голова*.

Алексей Варламов Чистая Муся

Мусин отец Анемподист Тихонович Опарин был в Кашине личностью примечательной. По роду своей деятельности он ведал хлебной торговлей, сочетая при этом трезвый расчет с истинно российской страстью пускать пыль в глаза. Самодурство его доходило до такой степени, что в свое время он задумал покрыть только что построенный дом в центре города чистым золотом, для чего написал особое прошение в Петербург, но получил отказ. Это его не охладило, но весьма настроило против него кашинских обывателей. В семнадцатом году, когда купца лишили всех его богатств, многие испытали мстительное чувство удовлетворения, хотя хозяйственная жизнь в городе замерла, остановленная, как часы. Сам Анемподист Тихонович этого грабежа не перенес и умер от удара, оставив свою единственную дочь расплачиваться по его долгам.

Из особняка с мраморными лестницами и лепными карнизами, отданного под уездЧК, Мусю выселили и взамен дали крохотную комнатку в бывшем странноприимном доме, построенном ее же батюшкой. Впрочем, этого уже никто не помнил, зато хорошо помнили пьяные кутежи и лихую купеческую тройку, не разбиравшую дороги. Мусе не могли простить того, что еще год назад перед ее отцом все ломали шапку, а теперь узнававшие ее в голодных очередях женщины смеялись над ней, отталкивали и плевались вслед, словно почитая виновной в нынешней разрухе. Муся сносила все плевки и унижения молча, продавала немного, что осталось у нее из вещей, и вскоре кашинцы потеряли к ней интерес и привыкли к тому, что самая богатая некогда невеста работает на телеграфе.

Муся жила уединенно и тихо, посещала политзанятия, откладывала из своего скудного заработка на кинематограф и ничем не отличалась от обыкновенной служащей. Однако, несмотря на полную лояльность к новым властям, избирательного права купеческую дочь лишили. Бог знает отчего, но это обстоятельство девушку потрясло. Легко смирившаяся с тем, что ее ограбили и выкинули на улицу, она не могла снести этой последней несправедливости и стала ходить по советским учреждениям, добиваясь того, чтобы ей разрешили голосовать.

Ей всюду отказывали, но она не сдавалась, и тогда Мусю вызвали в дом, где прошло ее детство, и бывший кашинский аптекарь Давид Маркович Коган грозно спросил, с какой целью она мутит воду и отвлекает занятых людей по пустыкам.

– Это не пустыки, – возразила Муся, но Давид Маркович велел ей сидеть тихо и пригрозил, что применит всю строгость революционного закона, буде она вздумает куда-либо еще обращаться.

Муся вышла из отчего дома не помня себя. Страшные мысли приходили ей в голову, и сама жизнь казалась невыносимой. На работе она была невнимательна и еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Но вдруг чей-то спокойный и ласковый голос, от какого Муся уже давно отвыкла, произнес:

– Не волнуйтесь вы так, милая барышня.

Девушка подняла голову и увидела мужчину лет тридцати. Он был одет очень просто, но Мусин глаз заметил странное несоответствие между одеждой незнакомца и его внешностью.

– У вас что-то случилось? – спросил он мягко.

Муся кивнула и расплакалась.

– Послушайте, – сказал он, наклонившись к ней, – почта уже закрывается, давайте я вас провожу.

Муся сама не могла понять, почему вдруг доверилась этому человеку и дорогой рассказала ему о своем несчастье.

Он слушал ее очень внимательно, и его лицо выражало недоумение и печаль. А Муся была благодарна своему провожатому за то, что в этот вечер оказалась не одна. На следующий день мужчина пришел на почту снова и принес Мусе цветы. Однако она о нем так почти ничего и не узнала, кроме того, что приезжий и зовут его Сергеем Александровичем.

Некоторое время спустя он уехал, пообещав вскоре дать о себе знать. Муся ждала его с обычным девичьим волнением, но ни самого Сергея Александровича, ни вестей от него не было. Он приехал только через полгода, исхудавший, бледный, со следами недавно перенесенной болезни, но с такой же нежностью в глазах. Муся всплеснула руками и, уже ни о чем не думая, привела его к себе.

В комнатке с купеческими шторами и зеркалом – единственным, что не продала она из прежних вещей – было уютно и тепло, лицо молодой хозяйки светилось радостью, и Сергей Александрович, откинувшись в кресле, вдруг тихо проговорил:

– Вы удивительная девушка, Мария Анемподистовна. На вас глядя, можно подумать, что ничего страшного, но если только не считать того, что вас лишили избирательного права, не произошло. Неужели вам не жаль той жизни?

– Нет, – ответила Муся, – я никому не обязана теперь, свободна...

– Свободны? – воскликнул он. – И вы можете это говорить?

– Да, – сказала Муся и опустила голову. – Батюшка мой был человек суровый, и хоть грех так думать, но с его смертью я вздохнула легче. А что до денег, то с меня довольно и того, что я зарабатываю.

Сергей Александрович хотел было что-то возразить, но потом тихо проговорил:

– Не знаю, может быть, вы правы. Но я в этой стране после того, что здесь случилось, жить не могу. И ни в какой другой тоже не могу, – добавил он задумчиво и вдруг улыбнулся какой-то детской улыбкой. – А вот у вас так хорошо, что и уходить никуда не хочется.

– А вы не уходите, – сказала Муся и покраснела.

– Я не смею этого сделать, – отозвался он печально, – потому что боюсь подвергнуть вас опасности лишиться не только избирательного права, но и всех других.

Муся вспомнила суровое лицо аптекаря, ей стало страшно, но быстро и глядя куда-то в сторону, она произнесла:

– Все равно. Это не важно.

Через месяц Муся и Сергей Александрович поженились. У него было немного денег, и они купили отдельный домик с небольшим садом на окраине Кашина. Муся была счастлива и, даже вспоминая былую роскошь, не чувствовала себя такой богатой, как теперь, когда у них появилась эта лачужка с куском земли.

Они жили покойно и мирно, выращивали в саду цветы, читали книги и гуляли вечерами вдоль речки Кашинки, и однажды, сидя на террасе и глядя на предзакатный городок с молчаливыми поредевшими церквями, Сергей Александрович задумчиво произнес:

– Странно, но люди так же живут, женятся, рожают детей и умирают, и никому нет дела, какая над нами власть. И мне, в сущности, тоже.

Муся улыбнулась и промолчала.

Так прошло несколько лет. Сергей Александрович располнел, отпустил бородку и вступил в профсоюз. Он все меньше язвил, читая советские газеты, и казалось, ничто не предвещало беды, но однажды в их дом постучался незнакомый Мусе человек.

Он выглядел так, как несколько лет назад ее муж: под обыкновенной одеждой чувствовалась офицерская выправка, и глаза глядели настороженно и хмуро. Увидев его, Сергей Александрович побледнел. Мужчины прошли в комнату, и, стоя возле двери, Муся слышала, как пришелец объявил о готовящемся выступлении. Сергей Александрович сперва молчал, а потом стал говорить, что всякая борьба давно уже бесполезна. Гость возражал и обвинял бывшего

товарища в трусости. Потом в комнате раздался звук пощечины, и незнакомец вышел, не глядя на Мусю.

– Кто это? – спросила она с упавшим сердцем.

– Сильвио, – криво улыбнулся муж, но глаза его остались неподвижными.

– Он больше не придет? – произнесла Муся со страхом.

– Нет, – покачал головой Сергей Александрович, и Муся облегченно вздохнула.

Однако радость ее была преждевременной. День ото дня муж становился все более мрачным, курил и ворочался без сна, а потом объявил, что должен на время уехать.

– Куда? – спросила Муся, и все оборвалось у нее внутри от страшной догадки.

Он ничего не ответил, но у него вдруг дернулась щека, и Муся поняла, что все ее мольбы будут напрасными: ее муж снова превратился в оскорбленного дворянина, для которого не было ничего важнее собственной чести.

Месяц спустя Муся прочитала в газете, что в Москве раскрыт контрреволюционный заговор. Все его участники предстали перед трибуналом и были расстреляны. В их числе был ее муж.

Саму Мусю почему-то не тронули, но она об этом не задумывалась. Горе ее было так ужасно, что она не могла ни о чем думать и даже не пыталась понять, справедливо или несправедливо поступили с ее мужем. Вопрос этот был столь же нелепым, как если бы он попал под поезд или умер от внезапной болезни. Но ни зла, ни обиды в Мусином сердце не появилось.

Внешне ее жизнь изменилась мало. Она по-прежнему ходила на службу, отдавала, как и все трудящиеся, треть зарплаты на заем, но единственное утешение находила теперь в цветах, заменивших ей все прежние радости и живо напоминавших о счастливых днях, проведенных с Сергеем Александровичем.

Одному Богу известно, какие секреты знала несчастная женщина, но таких удивительных фиалок, анютиных глазок, пионов и георгинов ни у кого в Кашине не было. Каждое утро, просыпаясь, Муся первым делом шла в сад разговаривать с цветами. Она рассказывала им обо всех мелочах, жаловалась и просила совета, и постепенно боль в ее сердце стала утихать. Муся привыкла к тому, к чему, казалось ей, привыкнуть она никогда не сможет.

Не могла она смириться только с тем, что лишена возможности навестить могилу мужа, точно так же, как по-прежнему лишена права голоса, и два эти лишения странным образом слились в ее сознании в одно. Однако настаивать на их отмене Муся не смела: покойный муж своим ужасным деянием стоял между нею и всем миром, и Муся со смирением несла свой крест, надеясь на лучшую участь.

И наступил год, когда великодушная власть простила и признала всех своих подданных независимо от того, кем были они или их родственники в прежней жизни, и дала каждому священное право голоса. Узнав об этом, Муся заплакала. В ее застывшей душе шевельнулось чувство, похожее на то, что она испытывала к отцу в те редкие минуты, когда он ее ласкал. Повинуясь этому безотчетному порыву, забыв о совете мудрого, хоть и тоже не уберегшегося Давида Марковича не тревожить собою занятых людей, Муся написала в Москву письмо, умоляя сказать ей, где похоронен ее несчастный, заблуждавшийся муж.

Две недели спустя воронок с зарешеченными окнами, каждый день объезжавший безмолвный город, остановился возле цветущего сада на окраине, и Мусю увезли мимо поникших от утренников георгинов, так и не дав ей проголосовать.

Цветы в саду первые годы еще цвели, но постепенно они заросли бурьяном, потом началась война, дом обветшал, и покупателя на него не нашлось. Лишь много лет спустя в нем поселилась какая-то старуха. Грубыми, несгибающимися пальцами она вырвала все сорняки, засадила участок картошкой, кое-как залатала крышу и зажила обыкновенной жизнью одинокого, никому не нужного человека.

Но открылось вдруг одно странное обстоятельство, понять которое никто не мог. В дни выборов, когда кашинцы отправлялись голосовать, а заодно купить по случаю пряников или конфет, на старуху нападала тоска. Она забивалась в темную комнату, весь день никуда не выходила и голосовать категорически отказывалась. Одно время ей приносили урну на дом, просили опустить бюллетень, убеждали и даже пытались пригрозить, что лишат пенсии и отнимут дом. Старуха бледнела, сжималась в комок, но не то с печалью, не то с какой-то затаенной гордостью говорила, что она лишенка, и в конце концов ее оставили в покое.

Андрей Геласимов

Либретто

Около полуночи швейцар отеля «Лотти» заметил на противоположном тротуаре дохлую крысу. Согласно его убеждениям ветерана и скромного человека, всю жизнь прожившего в квартале Менильмонтан, площадь Вандом и рю де Кастильон были совсем не тем местом, где парижские крысы могли позволить себе вот так бесцеремонно валяться, неважно – в дохлом или живом виде. Возмущенный швейцар покинул свой пост, где он любил топтаться на мраморном изображении льва, пересек улицу и склонился над тем, что он принял за несчастную мертвую тварь. Однако толком рассмотреть он ничего не успел. Дверь гостиницы хлопнула, швейцар выпрямился, но посетитель, которому он, вопреки своим священным обязанностям, не открыл дверь, уже поднимался по лестнице.

Портье, подсказавший позднему гостю номер нужной ему комнаты, безошибочно определил в нем русского офицера. Такие шинели и знаки отличия он видел летом 1916-го в Шампани, где два года спустя во время наступления в Аргонском лесу потерял правый глаз. Русский задержал взгляд на его черной повязке, коротко поблагодарил, а затем поднялся на второй этаж. Пройдя по роскошному коридору, он постучал в указанную ему дверь, куда был немедленно впущен, несмотря на неурочное время.

Там он пробыл ровно до четырех утра. За это время в номер дважды заказывали сельтерскую воду и крепкий чай. Пожилой австриец, бывший при постояльцах номера в услужении, просил горничную особенно проследить за тем, чтобы чай был заварен крепко. В самом начале пятого ночной гость прошел мимо портье, коротко кивнув ему на прощание, а затем растворился в морозящем дожде за стеклом и позолотой массивных дверей. В номере, откуда он вышел, спать в эту ночь никто уже так и не лег. Дежурный стюард, обычно загруженный работой только в первую половину ночи, вынужден был три раза подниматься со своей раскладной кровати, чтобы сменить у русских постояльцев переполненную пепельницу, открыть большое окно и достать завалившуюся за туалетный столик рубиновую запонку. Всякий раз, когда он входил, разговор в номере прекращался, и оба собеседника – маленькая хрупкая женщина с темными глазами, не поднимавшаяся из глубокого кресла, и напряженно стоявший посреди комнаты мужчина с высоким лбом и густыми усами – отводили взгляд в сторону, как будто им не хотелось смотреть друг на друга и присутствие постороннего человека наконец позволяло им освободиться от этой тяжелой обязанности.

Вышедший утром на свою смену шофер отеля подал старомодный «Сизер-Нодэн» к подъезду ровно в семь, как ему и было предписано, однако пассажиры спустились из номера лишь в половине восьмого. За эти тридцать минут водитель успел вздремнуть, как привык делать это в окопах, и даже увидеть короткий сон, который с упорной периодичностью беспокоил его последние пять лет. Ему снилась удивительной красоты девушка из батальона снабжения Алжирской дивизии, прибывшей под Ипр накануне газовой атаки немцев. Во сне эта девушка успевала сказать ему свое имя и всегда оставалась живой, жалуясь лишь на то, что в Бельгии весной очень холодно.

По дороге в Венсенский лес бледные от бессонной ночи пассажиры молчали, глядя каждый в свое окно, и только однажды мужчина с густыми усами посетовал вслух на то, что водитель часто кашляет и как-то странно сипит. Впрочем, сказал он об этом по-русски, и шофер не обратил на его слова никакого внимания. Женщина с темными глазами тоже ничего не ответила своему спутнику. Она пристально смотрела на проплывавшую в этот момент мимо них за пеленою дождя башню Лионского вокзала, как будто пыталась прочесть на ее циферблате чью-то судьбу.

В большом деревянном ангаре, рядом с которым остановилось авто, эту бледную пару ждали три человека. Хмурый юноша с изможденным еврейским лицом наигрывал на фортепьяно фокстроты, беспрестанно переходя с одной мелодии на другую. Коротко остриженная девушка в старом и явно чужом пальто время от времени поднималась со своего стула, чтобы сделать несколько танцевальных движений. Она вставала, когда музыка начинала особенно нравиться ей и когда она точно знала, как хороша она будет в этих движениях. Потом девушка снова садилась, продолжая курить и шурить свои широко расставленные, как у черепашки, глаза. Небольшой, аккуратно одетый толстячок нервно расхаживал вокруг инструмента и безостановочно говорил по-русски, убеждая юношу в том, что тот – гений, что синематограф – это ключ ко всему и что не стоит обижаться на аристократов за пустячное опоздание. Когда юноша хлопнул крышкой, объявив о своем уходе, дверь скрипнула и в ангар, шелестя платьем, вошла приехавшая в авто женщина. Секунду она помедлила на пороге, чтобы привыкнуть к темноте, а затем ровным красивым шагом направилась к просиявшему толстячку, который тут же бросился ей навстречу. Ее спутник тоже вошел в ангар, но остановился у самого входа.

Исполнив на бегу странное подобие танца, толстячок жарко расцеловал маленькой даме обе руки и в полном восторге обернулся к хмурому юноше.

«Они приехали! – закричал он по-французски. – Вот видите! А вы не верили».

Дама приблизилась к юноше, глядя ему прямо в лицо, в то время как толстячок у нее за спиной уже торопился представить их друг другу.

«Матильда Кшесинская! – торжественно и нелепо прокричал он. – Димитрий Кирсанов!»

Юноша слегка поморщился от его резкого голоса и протянул руку.

«Простите за опоздание, – сказала Кшесинская, протягивая свою. – Сегодня ночью мы получили тяжелые известия из России... Андрей Владимирович вообще настаивал на том, чтобы никуда не ехать».

Она обернулась и посмотрела в ту сторону, где, скрестив на груди руки, стоял ее спутник.

«Но я обещала. Поэтому мы здесь».

Кшесинская обвела взглядом пустынное помещение. Единственная горевшая лампа висела на длинном проводе прямо над фортепьяно, а все остальное пространство за конусом света лишь угадывалось в холодной и гулкой полутьме.

«Вы здесь будете ставить свой фильм?»

Толстячок тут же вмешался, уничиженно и предсказуемо распинаясь о том, что великая балерина, конечно, привыкла к другим сценам, но Кшесинская не сразу ответила ему. Она взошла на небольшой подиум, зябко поежилась в мертвом электрическом свете и остановила наконец изливания толстячка, подняв маленькую ладонь в серой перчатке.

«Поверьте, мне совершенно все равно, что вы думаете о моих привычках. Давайте перейдем к делу. Вы хотели поставить фильм об одном из моих балетов, и я обещала принять решение – какой именно это будет балет. Однако сегодня ночью многое изменилось. Многое утратило всякий смысл. И старые балеты, мне кажется, в том числе. К чему заниматься новым и дерзким искусством, опираясь на устаревшие образцы? Позвольте мне рассказать вам балет будущего, по сравнению с которым эксперименты Нижинского покажутся публике детской забавой».

Юноша, внимавший балерине все с большим волнением, прервал ее речь аплодисментами.

«Я вижу, господин режиссер меня вполне поддерживает, – улыбнулась Кшесинская. – Значит, сегодня я, а не Миша Фокин буду вашей новой Шехерезадой. И впереди у нас еще одна ночь».

Она отошла от края невысокой сцены чуть вглубь, как будто приглашала своих слушателей последовать за нею, затем обвела пространство вокруг себя завораживающим плавным жестом и заговорила уже без остановок.

«Представьте, что мы на школьном дворе. Школа небольшая, одноэтажная. Сейчас поздний вечер. Вот здесь, посреди двора, стоят четыре подводы. На одной из них несколько человек в солдатских шинелях. На коленях у них – оружие. Еще несколько солдат стоят рядом с крыльцом школы. В окнах мелькает свет керосиновых ламп и тревожные тени. В отвесах большого костра, который горит примерно вот здесь, невысокий человек в штатском и в пенсне что-то счищает щепкой со своего ботинка. С крыльца школы торопливо сбегает молодой человек. Это начальник охраны, или центурион, как хотите. На ходу натягивая шинель, он приближается к человеку со щепкой и сообщает о том, что узники уже собрались. Но человек в пенсне не обращает на его слова никакого внимания. Он продолжает счищать что-то, налипшее на его ботинки. Из школы выходят два солдата с большими зажженными лампами в руках. Такие бывают, знаете, у путейцев, когда они осматривают вагоны по ночам. Следом за ними показывается первый узник. Назовем его «князь», или нет – пусть это будет «Сергей». Он одет в светлое летнее пальто, в руках у него дорожный саквояж, на голове элегантная шляпа. За ним на крыльцо выходят еще несколько узников, среди которых мы видим двух женщин в монашеском одеянии. Все они держат в руках дорожные сумки. Человек в пенсне, или «Префект» – ведь мы можем и так его назвать, велит им оставить все свои вещи, а затем по одному спускаться во двор, чтобы вот здесь выстроиться в шеренгу, рядом с подводами. Узники послушно опускают свои баулы на крыльцо. Ждут, пока человек в пенсне назовет каждого из них, и проходят на двор».

Кшесинская на мгновение замерла, кутаясь в плащ и прислушиваясь к дождю, который снова забарабанил по металлической крыше. Девушка, танцевавшая до ее прихода фокстрот, шепнула режиссеру, что она ничего не понимает по-русски, но тот лишь кивнул, как будто это так и должно быть и всё в полном порядке.

«В следующей сцене мы попадаем в здание школы. Здесь у нас будет широкий коридор, куда ученики выходят из классов после занятий. У одного из окон, выходящих во двор, стоит кухарка. Она смотрит на то, как рядом с подводами выстраивается короткая шеренга из безмолвных, послушных людей. Напротив окна у противоположной стены, где-то вот здесь, возможно, стоит вынесенная из учебного класса школьная доска. На ней мелом нарисована танцующая балерина и что-то написано по-французски... Пусть фраза гласит... Ну, например: «Нет, нам не кажется...» За спиной у кухарки по школьному коридору торопливо проходит начальник охраны. Далее мы следуем за ним... Простите, мы ведь можем позволить себе такое в вашем искусстве?»

Она вопросительно посмотрела на режиссера, и тот кивнул.

«Чудесно. Итак, заглянув к себе в класс, на скорую руку переоборудованный в казарменное помещение, центурион снимает со стены висящую на гвозде португую, надевает ее, быстро застегивает ремень и направляется к выходу. Кухарка, которая продолжает смотреть в окно, оборачивается на стук его сапог. Ее беспокоит ужин, который она приготовила для тех, кого увозят куда-то в ночь. Никто из них не успел поесть, и, следовательно, вся еда пропадет. Кухарку это тревожит. Центурион успокаивает ее тем, что к утру можно будет устроить целый пир, однако тут же замечает нарисованную на классной доске балерину. Схватив тряпку, висящую на доске, он раздраженно стирает рисунок, от которого остается лишь тонкая рука балерины, приподнятая в прощальном взмахе. Далее мы снова оказываемся в школьном дворе... Послушайте, мне определенно нравится ваше искусство. Это прекрасно, что мы можем с такой легкостью менять место действия. Как было бы замечательно... Впрочем, неважно. Итак, мы снова в школьном дворе. Человек в пенсне, или Префект, как мы его назвали, неторопливым шагом подходит к шеренге людей, выстроившихся рядом с подводами, и начинает срывать с них нательные кресты. Он словно лишает их всех последней опоры. Сорвав крестик с того, кто стоит первым, Префект расстегивает нагрудный карман его френча и достает оттуда какие-то документы. Сергей, который стоит через одного, тут же вынимает что-то из внутреннего кар-

мана своего пальто и прячет зажатый кулак у себя за спиной. Между ними – пожилая женщина в монашеском одеянии. Своим убором она прикрывает большое распятие у себя на груди, но Префект с полным осознанием своего права спокойно отстраняет ее руки и резким движением срывает крест. Женщина смиренно показывает, что она все равно будет молиться о своих мучителях. Человек в пенсне пожимает плечами и переходит к Сергею. Он требует показать, что у того в руке. Сергей вытягивает руку вперед, однако кулака не разжимает, глядя при этом прямо перед собой. Префект секунду медлит, затем вынимает из кармана своего пиджака револьвер. Сергей опускает взгляд на оружие, а затем снова смотрит на два маленьких стеклышка, за которыми прячутся невыразительные глаза. Человек в пенсне ждет, ничем не выражая угрозы, затем взводит курок и уже без промедления стреляет князю в руку. Тот хватается второй рукой за простреленную кисть, кривится от боли, стонет, однако кулака своего так и не разжимает».

У входа в ангар зашипела и вспыхнула спичка. Кшесинская замолчала, глядя на приехавшего с нею мужчину. Андрей Владимирович прикурил и вышел на улицу, после чего трое оставшихся слушателей одновременно повернули свои головы, готовые к продолжению рассказа. Французская девушка, ни слова не понимавшая по-русски, успела к этому моменту не только смириться с тем, что никто ей не переводит, но уже в полной мере была заморожена одними перемещениями балерины по сцене, ее голосом и движениями.

«Далее мы оказываемся в ночном поле, – продолжала Кшесинская. – Тряские подводы, на которых сидят узники и солдаты с большими путевскими лампами, движутся в темноте по разбитой дороге. Женщина в монашеском уборе негромко читает молитвы. С нею рядом сидит скрючившийся от боли Сергей. Простреленную руку он прижимает к животу. Вторая женщина осторожно касается его плеча и предлагает перевязать руку своим платком, но князь отвечает, что это уже не нужно. Он поднимает голову и смотрит в ясное звездное небо, прислушиваясь к молитвам келейницы».

Кшесинская перекрестилась.

«Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение мое и не заключил меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою...» Слыша эту молитву, сидящий рядом с монахиней пожилой солдат машинально осеняет себя крестным знамением».

«Прошу прощения, – прервал балерину молодой режиссер, – но, боюсь, в таком виде эту сцену снять невозможно».

«Вас беспокоит молитва? Не веруете?»

«Моя вера здесь ни при чем. Проблема строго техническая. Молитву мы пустим в титре, с этим ничего сложного нет, а вот подводы... Как же нам снять их движение в поле, когда съемочный аппарат стоит неподвижно? Мы не можем его трясти».

«Но вам совершенно не обязательно снимать это в поле и на ходу, – ответила Кшесинская. – Речь идет о балете. Все очень условно. Вы, вообще, когда-нибудь бывали на балетном спектакле? Впрочем, неважно. Если хотите, можем пропустить эту сцену. А сейчас обратимся к прошлому. Давайте перенесемся на двадцать пять лет назад. Это мы можем сделать?»

«Думаю, да. Просто переоденем и загримируем артистов».

«Чудесно. Итак, мы в просторном светлом фойе императорского театрального училища в Петербурге. Молодой Сергей в припорошенной снегом шинели вбегает с улицы. Он очень спешит, потому что опаздывает на выпускной спектакль. Однако, вбежав, он в недоумении останавливается. Прямо посреди фойе две юные девушки в балетных костюмах устроили весьма своеобразное представление. Одна из них – та, что поменьше, – изображает мужчину. На голове у нее мужская шляпа, под носом роскошные усы запорожского казака. Усы то и дело отклеиваются, поэтому она вынуждена придерживать их рукой, а поскольку обе юные балерины сильно смеются, усы норовят упасть каждую секунду. Девушки пародируют сцену знакомства Лизы и ее неудачливого жениха из балета «Тщетная предосторожность». Юная танцовщица, исполняющая женскую партию, принимает жеманные позы, а та, что изображает

мужчину, совершает вокруг нее довольно нелепые прыжки, резко прижимается к своей партнерше всем телом, всячески имитируя любовную страсть, переходя, в общем-то, границы дозволенного и выкрикивая при этом вне всякой связи итальянские слова: «Аморе... Андьямо... Пердитта...» Внезапно исполнительница женской партии замечает застывшего на пороге великого князя в распахнутой парадной шинели. Она останавливает свою подругу, та оборачивается и тут же приседает в глубоком книксене, узнав одну из особ императорского дома.левой рукой она продолжает автоматически придерживать театральные усы, а правой снимает шляпу. Сергей едва удерживается от смеха. Девушки извиняются. Они думали, что все гости уже собрались. Та, что поменьше, давайте назовем ее «Маля», поднимает на князя немного испуганный, но все же очень проказливый взгляд. Сергей чуть дольше, чем этого требует ситуация, смотрит ей прямо в глаза, а затем идет через фойе, приближаясь к двум застывшим в реверансе танцовщицам. Маля не сводит с него внимательного взгляда. Когда он проходит мимо, обе девушки наконец выпрямляются. Сергей, пряча улыбку, спрашивает – за что они так ополчились на итальянцев, и Маля отвечает, что итальянские артистки, конечно же, хороши, но русский балет славой русских балерин будет превознесен. Сергей с ироничной улыбкой принимает эту дерзость и спешит по коридору в зал, откуда ему навстречу уже летит бравурная музыка. Потом останавливается, снова смотрит на Маю, на небольшой медальон у нее на груди и просит разрешения взглянуть на него поближе. Маля с готовностью снимает медальон, подбегает к великому князю и в грациозном поклоне протягивает ему свое скромное украшение».

Кшесинская на секунду замерла перед своими слушателями в поклоне, о котором только что говорила, и в этой паузе отчетливо и протяжно скрипнула дверь в ангар. Вошедший с улицы Андрей Владимирович сощурился, чтобы привыкнуть к полутьме, негромко покашлял и, наконец, направился к сцене. Усаживаясь на обшарпанный стул рядом с французенкой, он слегка приподнял шляпу, то ли здороваясь с ней, то ли извиняясь перед Кшесинской за свое вторжение.

«Далее мы снова оказываемся в ночном поле, – продолжала она, дождавшись, когда ее спутник перестанет скрипеть стулом. – Подводы с узниками останавливаются неподалеку от жерла заброшенной шахты, которое представляет собой просто огромную дыру в земле. Пусть это будет вот здесь. Над этой дырой в темноте виднеются остатки разрушенного подъемного механизма. С головной подводы спрыгивает человек в пенсне. Он указывает пальцем на самого молодого узника. Солдаты стаскивают с телеги обреченного юношу, и голос келейницы, которая продолжает молиться, звучит громче. К ее молитве присоединяется и вторая женщина в монашеском одеянии. Это великая княгиня Елизавета Федоровна. Вдвоем они все быстрее и быстрее повторяют: «Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси». В дрожащем свете ламп, отблески от которых прыгают по темным, будто застывшим лицам, юношу волоком тащат к широкому отверстию в земле, а потом сталкивают туда, как ненужный груз. Из черной глубины долетает жалобный вскрик. После этого Префект указывает на Сергея, но тот не дожидается, пока его стащат с подводы, и сам спрыгивает на землю. Солдаты хватают его под руки, однако Префект останавливает их властным жестом. Он приближается к Сергею со словами о том, что ему поручено сделать великому князю некое предложение, но Сергей не дожидается конца фразы, едва заметно покачав головой. «Как знаете», – говорит Префект и снова вынимает из кармана пиджака револьвер. Сергей Михайлович отворачивается от него к Елизавете Федоровне, которая по-прежнему сидит на телеге. Он ловит ее взгляд и, не отрываясь, смотрит в ее широко раскрытые глаза, как будто ищет в них окончательной силы и окончательного покоя, а она словно впускает его в новый и неизведанный мир. Лицо ее не меняется даже тогда, когда стоящий позади великого князя человек поднимает свой револьвер и направляет его тому в затылок. В следующее мгновение звучит выстрел, и тело убитого князя падает в траву. Простреленная рука его наконец разжимается, в мертвой ладони блесит испачканный кровью небольшой медальон».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.